

УДК 1(091); 165.9  
ББК 87.3(2)6; 87.25

**Симон Семенович Илизаров**

Институт истории естествознания и техники имени С.И. Вавилова РАН, доктор исторических наук, профессор, главный научный сотрудник, заведующий отделом историографии и источниковедения истории науки и техники, Россия, Москва, e-mail: sinsja@mail.ru

**Виктор Александрович Куприянов**

Санкт-Петербургский филиал Института истории естествознания и техники имени С.И. Вавилова РАН, кандидат философских наук, научный сотрудник сектора социальных и когнитивных проблем науки, Россия, Санкт-Петербург, e-mail: nonignarus-artis@mail.ru

## **Очерки по истории русской философии 50–60-х годов<sup>1</sup>**

**Тимофей Иванович Райнов**

**Части шестая и седьмая \***

*Подготовка к публикации С.С. Илизарова и В.А. Куприянова*

**Simon Semenovich Ilizarov**

S.I.Vavilov Institute for the History of Science and Technology, RAS, Advanced PhD (History), Professor, Chief Research Scientist, Head of the Department of historiography and Source study of the history of science and technology, Russia, Moscow, e-mail: sinsja@mail.ru

**Victor Aleksandrovich Kupriyanov**

St. Petersburg branch of S.I. Vavilov Institute for the History of Science and Technology, RAS, PhD (Philosophy), Research Scientist of the sector of social and cognitive problems of science, Russia, St. Petersburg, e-mail: nonignarus-artis@mail.ru

## **The outlines of the history of russian philosophy of the 1850-60s years**

**Timofey Ivanovich Rainoff**

**Parts six and seven**

*Prepared for publication by S.S. Ilizarov and V.A. Kupriyanov*

**DOI: 10.17588/2076-9210.2021.1.031-041**

---

<sup>1</sup> Публикация осуществлена при финансовой поддержке РФФИ (проект № 19-011-00366 и проект № 20-011-00071).

\* Части первая и вторая опубликованы в: Соловьевские исследования. 2020. Вып. 2(66). С. 59–68. Часть третья – Соловьевские исследования. 2020. Вып. 3(67). С. 39–47. Части четвертая и пятая – Соловьевские исследования. 2020. Вып. 4(68). С. 62–74.

## 6. Экстенсивность мышления, при его слабой интенсивности

Разбросанность деятельности мешает ее сосредоточенности, а только сосредоточенная деятельность может быть интенсивной. Сочетание широты, экстенсивности труда с его углубленной продуктивностью – явление редкое, и обычно одно качество развивается за счет другого. Преобладание экстенсивности означает поэтому, как общее правило, слабую интенсивность деятельности. Большая интенсификация труда возможна лишь в общественной среде с далеко проведенным и все растущим разделением труда. Вырабатывая тип личности, менее широкой и более специализированной, и приковывая все ее внимание и силы кругу явлений, относительно узкому, такая среда создает возможность более интенсивного труда.

Наша дореформенная общественная среда, с ее слабой трудовой дифференциацией, культивировала тип широкого, разностороннего деятеля и приучала его к труду, более широкому, чем углубленному, более экстенсивному, чем интенсивному. Этот характер трудовой деятельности сказывался во всех областях жизни и был запечатлен в известных словах Некрасова о людях, которые «по свету рыщут, дела себе исполинского ищут». Все общественное движение 50–60 гг., столь яркое и памятное, протекало по типу экстенсивной культуры, оборотной стороной которой была неизменно ее слабая интенсивность.

«В 1856 году, – рассказывает Шелгунов, – когда я отправился за границу сейчас же после Севастополя, над Россией носился хаос желаний, порывов, и вещи больше чувствовались, чем понимались»<sup>2</sup>. «Это было истинное поэтическое время, свидетельствует Костомаров: казалось, всякие эгоистические стремления улегались, люди перестали думать о собственных выгодах, у всех на уме и на языке было возрождение русского общества к иной жизни, которой оно только желало, но еще не испытывало...»<sup>3</sup>. Увлекались все. «По почину правительства, сообщает Пирогов, даже и равнодушнейшие чиновные консерваторы считали обязанностью хоть немного да увлечься»<sup>4</sup>. «Любо смотреть было, говорит Добролюбов, в самом деле, на общее одушевление: самый робкий, самый угрюмый человек не мог, кажется, не увлечься, видя, как все единодушно хлопотали о том, чтобы раскрыть «наши общественные раны», показать наши недостатки во всех возможных отношениях. Каких тогда вопросов не подняли, до каких закоулков не добрались!.. «От Перми до Тавриды пронесся один громкий энергический возглас: идите все, кто может, спасать Русь от

---

<sup>2</sup> Шелгунов Н.В. Из прошлого и настоящего // Шелгунов Н.В. Собрание сочинений в 3 т. Т. 2. СПб.: Изд-во О.Н. Поповой, 1904. С. 647.

<sup>3</sup> Костомаров Н.И. Литературное наследие; Автобиография; Стихотворения; Сцены; Исторические отрывки; Малорусская народная поэзия; Последняя работа. СПб.: Тип. М.М. Стасюлевича, 1890. С. 80.

<sup>4</sup> Пирогов Н.И. Сочинения в 2 т. Т. 2. Вопросы жизни. Дневник старого врача. Киев: Пироговское тов-ство, 1910. С. 273.

внутреннего зла! И все поднялось, все заговорило – твердо, сильно, разумно»<sup>5</sup>. «Сердца бились тогда сильно и радостно, в полном убеждении, что сознание недостатков есть уже половина исправления и что русский человек ничего не любит делать в половину. И все ждали... подвигов, все были в напряженном ожидании чего-то великого, необычайного. Все принимало вид какого-то торжественного приготовления, точно накануне великого праздника...»<sup>6</sup>. «Бывают эпохи, радовался Катков на одном московском банкете 1857 года, когда всякому ясно чувствуется присутствие промысла в жизни, когда в глубине души каждого слышатся явственно ответы настоящего на вопросы прошедшего, ответы, вносящие мир и благоволение в сердце людей, восстанавливающие смысл, правду и равновесие жизни, – эпохи, когда силы мгновенно обновляются и созревают, когда люди с усиленным биением собственного сердца, сливаются в общем деле и в общем чувстве: благо поколениям, которым суждено жить в такие эпохи! Благодарение Богу: нам суждено жить в такие эпохи!»<sup>7</sup>. Во всех областях жизни закипела работа. «Фабрики не успевали готовить товаров, строились новые фабрики и расширялись старые, цена на все товары и заработки росла непомерно...»<sup>8</sup>. Все стремились жить «во всю», кто как и чем мог, – кто «общим делом», кто – нарядями. И – «не может быть ничего великолепнее нынешних нарядов», свидетельствует обзор мод того времени<sup>9</sup>. Но все это длилось недолго... Проницательные наблюдатели предчувствовали скорый конец всем радостям еще в самый разгар всеобщих ликований. Пирогов записал в своих «Вопросах жизни» (1860 г.) такой грустный диагноз: «Я прожил недели три в Петербурге и действительно не знал, чему удивляться: распущенности ли с одной стороны, или безалаберности с другой... Вообще, предшествовавшее непосредственно эмансипации время оставило у меня впечатление чего-то странного, неопределенного, не позволявшего понять, должно ли радоваться тому, что предстоит, или только рукою махнуть»<sup>10</sup>. «Много разочарований испытали мы на новой дороге, писал и Добролюбов около того же времени, – многие надежды оказались пустыми мечтами, много видели мы явлений, способных сбить с толку самого простодушного из оптимистов, вообще отличающихся простодушием. И нет прежнего увлечения, прежнего задушевно-гордого

---

<sup>5</sup> Добролюбов Н.А. Губернские очерки, из записок отставного надворного советника Щедрина. Собрал и издал М.Е. Салтыков. Том третий. Москва. 1857 // Добролюбов Н.А. Полное собрание сочинений в 9 т. / под ред. Е.В. Аничкова. Т. 3 Литературная критика. Ч. 1. Статьи и отзывы 1856–58 гг. СПб.: Деятель, 1912. С. 338–339. (Ссылка восст. – прим. ред.)

<sup>6</sup> Там же С. 342. (Ссылка восст. – прим. ред.)

<sup>7</sup> Барсуков Н.П. Жизнь и труды М.П. Погодина. Кн. XV. СПб.: Тип-фия М.М. Стасюлевича, 1901. С. 477.

<sup>8</sup> Свидетельство экономиста 60-х гг. В. Безобразова. Цит. по: Туган-Барановский М.И. Русская фабрика в прошлом и настоящем. Т. I. Историческое развитие русской фабрики в XIX века. 3-е изд. СПб.: Изд. кн. маг. «Наша жизнь», 1907. С. 326.

<sup>9</sup> Отечеств. Записки. 1855. Т. 98. Кн. 2. С. 183.

<sup>10</sup> Пирогов Н.И. Сочинения в 2 т. Т. 2. Вопросы жизни. Дневник старого врача. Киев: Пироговское тов-ство, 1910. С. 264.

тона... “Где девалася речь высокая, сила гордая?” Разговоры и теперь, конечно, продолжаются, и мы вовсе не хотим сказать, чтобы общественное внимание вовсе забыло о тех вопросах, которые недавно возбуждены были с такой энергией. Мы говорим только, что в деятельности, в жизни общества мало оказывается результатов от всех восторженных разговоров, чем и доказывается, что большинство наших доморощенных прогрессистов играло до сих пор, по выражению г. Щедрина, не “внутренностями, а кожей...”<sup>11</sup>. «Оказывается, что увлечения и надежды были преждевременными, и что многие из людей, горячо приветствовавших зорю новой жизни, вдруг захотели ждать полудня и решились спать до тех пор, что еще бо́льшая часть людей, благословлявших подвиги, вдруг присмирела и спряталась, когда увидела, что подвиги, вдруг присмирела и спряталась, когда увидела, что подвиги нужно совершать не на одних словах, что тут нужны действительные труды и пожертвования. Все нетерпеливо ждали, желали, просили улучшений, озлобленно кричали против злоупотреблений, проклинали чужую лень и апатию, – но редко-редко кто принимался за настоящее дело. Испуганные воображаемыми трудностями и препятствиями, многие из тех, кто даже мог делать истинно-полезное,

В начале поприща увяли без борьбы...»<sup>12</sup>.

Многочисленные промышленные предприятия тоже стали разоряться одно за другим, когда начался жесточайший экономический кризис; и кривая их падения была еще круче кривой подъема. Мало кто успел пустить прочные и глубокие корни и почти всех снесла всесильная волна хозяйственного потрясения. – Короче: экстенсивное в высшей степени, общественно-экономическое движение 50–60 гг. оказалось крайне неинтенсивным: следствие, прежде всего, социологического строения русского общества с его слабой социально-трудовой дифференциацией.

То же случилось и с философией 50–60 гг. Питомцы своей среды и времени, мыслители этой эпохи проявили много широты и размаха деятельности, не только в том, что, кроме философии, занимались и многим другим, но и в сфере собственно-философского мышления. Но широте и здесь, в большинстве случаев, соответствовала слабая напряженность или интенсивность творчества, и в этом отношении мыслители 50–60 гг. отличались друг от друга весьма мало, хотя одни из них обладали пороком неинтенсивного мышления в бо́льшей, а другие – в меньшей степени. Впрочем, были отсюда и исключения.

Все – в этом нет исключений – мыслители 50–60 годов любят темы широчайшие, всеобъемлющие. Философское мышление не обязано трудиться исключительно над такими темами. Верно только то, что философы на все должны взирать с некоторой общей, универсальной точки зрения. Но с этою по-

---

<sup>11</sup> Добролюбов Н.А. Губернские очерки, из записок отставного надворного советника Щедрина. Собрал и издал М. Е. Салтыков. Том третий. Москва. 1857 // Добролюбов Н.А. Полное собрание сочинений в 9 т. / под ред. Е.В. Аничкова. Т. 3 Литературная критика. Ч. 1. Статьи и отзывы 1856–58 гг. СПб.: Деятель, 1912. С. 343. (Ссылка восст. – прим. ред.)

<sup>12</sup> Там же. С. 344. (Ссылка восст. – прим. ред.)

следней он может подходить ко всяким вопросам, узким и широким лишь бы в их решении сказывалось умение видеть их в свете цельного мировоззрения. Понятие об «узком» и «широком» вопросе, конечно, условно и относительно. Иной «узкий» вопрос проникает в существо дела так глубоко, что содержанием его оказывается целая бесконечность, и тогда он шире всякого «широкого». Но «широта» узкого вопроса открывается в том его измерении, которое называется «глубиной», а для достижения этой глубины, как и всякой другой, необходим настойчивый и напряженный труд. Кто не привык к нему, для того «узкий» вопрос так и остается «узким», и он ищет удовлетворения для своей мысли не в разработке одного или нескольких таких вопросов, а в быстром и легком распространении ее на возможно большее число явлений, взятых с птичьего полета, т.е. весьма общо и суммарно: тогда их различия сглаживаются и все они располагаются для мысли как бы в одной однообразной плоскости. Мысль не задерживается в этой плоскости частностями и весь интерес ее заключается в том, чтобы распространиться в ней возможно шире, – насколько хватает глаз. Она проникнута, говоря словами Ницше, «пафосом пространства», «расстояния», и объемная ценность какого-либо понятия, его распространимость на возможно-большее число вещей часто становится при этом критерием познавательной ценности этого понятия. Такова именно мысль наших философов 50–60-х годов. Она живет почти исключительно «пожиранием объема», и для удовлетворения своей страсти к этому останавливается главным образом на вопросах широких, пренебрегая глубинным измерением частностей, вовсе невидимых с высоты птичьего полета и учитываемых только как исчезающие в целом детали.

В этом отношении особенно отличались «старые философы» эпохи 50–60-х годов, но от них не отставало и большинство «новых». – Четырехтомная история древней философии Новицкого охватывает период огромной продолжительности и философов самых разнообразных направлений. Здесь есть где разгуляться мысли историка философии! Но распространяясь вширь, мысль Новицкого знает только одну глубину: глубину знания трудов и монографий по истории китайской, индусской и греко-римской философии. Новицкий не был самостоятельным исследователем ни в одной из этих областей, и когда он пользуется первоисточниками, то видит их в свете сочинений тех комментаторов, рука которых поработала над ними до него. Напрашивается сравнение этого труда Новицкого с классическим сочинением корифея истории греческой философии, Целлера – «Философия греков», основательно использованным Новицким. Тема Целлера тоже достаточно широка, но можно смело сказать, что он искал не широты: она явилась наградой старательного исследователя за пристальное и тщательное изучение по первоисточникам «частностей». Целлер сам проработал все отделы своей монументальной истории, проявив знания и способности первоклассного специалиста в каждом из них. Вот пример сочетания экстенсивности мышления с его интенсивностью. У Новицкого интенсивность мышления сказывается только в хорошем знании исторической литера-

туры. В том же роде и большой, многотомный философский словарь Гогоцкого. Здесь «пафос пространства», вдохновлявший наших мыслителей 50–60-х гг., выразился в особенно наглядной форме. Весь интерес автора заключался не в том, чтобы самостоятельно проработать один или несколько вопросов в систематической их связи, а в том, чтобы охватить все вопросы, руководясь при этом буквенным порядком их наименований, точно бы его девизом служили слова Грибоедова: «Числом поболее, ценою подешевле». Такова и книжка Гогоцкого о Канте, – суммарная и беглая критика, которую можно было бы считать разве введением к самостоятельной разработке тех же вопросов, а не окончательным, как вышло у Гогоцкого, сочинением. – Мышление славянофилов отличалось теми же особенностями. Вся «система» Киреевского изложена наиболее полным образом в двух небольших статьях, из которых одна содержит, главным образом, проект обновления философии, а другая представляет ряд «отрывков», в которых воспроизводятся и отчасти дополняются идеи первой статьи. Реформа философии, задуманная Киреевским, – самая решительная: он требует – «самый разум поднять выше своего обыкновенного уровня»<sup>13</sup>. Но если вы захотите узнать, как это сделать, вы найдете только голословное указание на необходимость «подчинить» обычный разум «цельному сознанию верующего разума»<sup>14</sup> и напрасно будете добиваться объяснения того, как такое подчинение «не стесняет естественных законов разума», подумывая в особенности перед заявлением, что это «напротив, укрепляет его самобытность»<sup>15</sup>. «Новые начала философии» Киреевского представляют самый широкий проект, лишенный почти всякого конкретного содержания. Правда, он умер как раз в то время, когда появилась (в 1856 г.) основная его статья, и, живи он дольше, он мог бы, быть может, разработать свой план подробнее. Но Киреевский и в прошлом имел десятки лет для такой разработки, и однако не занялся ею, несмотря на то, что основная его мысль сложилась задолго до 50-х годов. Печата́ть в то время ему, положим, мешала цензура, которая еще в 1852 году находила «что-такое неблагонамеренное» в его выражении «цельность бытия»<sup>16</sup>, но он мог, по крайней мере, писать, откладывая печатание до более благоприятного времени. Однако, в его посмертных бумагах по части философии нашлись только вышеупомянутые мало говорящие «отрывки». То же относится и к Хомякову. Если и его взгляды сохранились в эскизной и суммарной форме 2–3 статей, если по части положительного содержания своей философии он только и успел указать, что путь к истине «нам издревле сказан» и что главной опорой

---

<sup>13</sup> Киреевский И.В. О необходимости и возможности новых начал для философии // Киреевский И.В. Полное собрание сочинений в 2 т. М.: Тип. императорского московского университета, 1911. С. 249.

<sup>14</sup> Там же. С. 264.

<sup>15</sup> Там же. С. 250.

<sup>16</sup> Богучарский В.Я. Из прошлого русского общества. СПб.: Кн-во М.В. Пирожкова. Ист. отд., 1904. С. 332.

мироздания является «закон любви»<sup>17</sup>, а дальнейшая философская работа, начатая в 1860 году во «Втором письме к Ю.Ф. Самарину» (неоконченном), была прервана смертью автора от холеры, то и здесь мы видим не какой-то злой рок, не давший раскрыться в Хомякове всем вложенным в него возможностям, а просто следствие экстенсивной манеры мышления, непривычку к интенсивному труду, которая влекла его и к поэзии, и к освобождению греков, и ко всему понемножку, но ни к чему – основательно. – Из «новых философов» 50–60-х гг. Лавров был ближе всех своих сверстников к этой манере мышления. Он брался только за темы необъятные и, конечно, никогда не оказывался в силах одолеть их, несмотря на свое колоссальное трудолюбие и писательскую плодовитость. Таков «антропологизм» Лаврова, – собственная его система философии; такова же и история мысли, – его научно-философский труд. «Антропология» Лаврова заключает в себе несколько философских наук – пропедевтику теоретической философии, философию природы, философию духа, пропедевтику практической философии, философию искусства, философию нравственности, философию истории – и еще феноменологию духа. Проект целой системы, состоящий из этих наук, излагался Лавровым 2–3 раза, причем самый подробный занимает, в сущности, менее 15 страниц. «Монадология» Лейбница тоже короткое сочинение, но в ней только словам тесно, а мыслям широко. У Лаврова же наоборот: мыслям тесно... А слов хоть и относительно много, но тоже недостаточно, так что добрая половина вышеназванных наук существует у него почти в виде заглавий, а остальные разработаны так мало, что походят скорее на оглавления будущих сочинений, – далеко не подробным притом. Только этика Лаврова несколько полнее, да и то – лишь относительно: о системе этики Лаврова и говорить не приходится. А Лавров прожил 77 лет... Его многолетние занятия историей мысли шли тоже вширь, а не вглубь. При составлении в 60-х гг. истории физико-математических наук, он пользовался не столько первоисточниками, сколько соответствующей исторической литературой, впрочем, самостоятельно продуманной. Перейдя затем к истории мысли вообще, Лавров остался верен этому приему. Специалистом-исследователем он никогда не был, и для своих широких обобщений материал почерпал обычно из вторых рук. Нельзя сказать, чтобы он был неспособен к монографической разработке отдельных вопросов: его статьи о К.Э. фон-Берн доказывают противное. Но его не влекло к трудам такого рода, и всего лучше и привольнее чувствовала себя его мысль, обегая широкие перспективы всемирно-исторических обобщений, основанных на интенсивной работе над первоисточниками – не его собственной, а чужой.

Сохраняя, в общем, привычки экстенсивного мышления, другая группа философов 50–60 гг. страдала пороком неинтенсивности в меньшей степени, чем только что названные мыслители. Из «старых» философов 50–60 гг. сюда

---

<sup>17</sup> Хомяков А.С. По поводу отрывков, найденных в бумагах И.В. Киреевского // Хомяков А.С. Полное собрание сочинений в 8 т. Т. 1. М.: Университетская типография, 1900. С. 282–283.

относится переводчик Платона Карпов. О его склонности к широким заданиям свидетельствует как этот его обширный труд, так и его учебники, из которых самостоятельнее и полнее других «Систематическое изложение логики» (1856). Но в комментарии к Платону Карпова находим и образчики очень вдумчивого и углубленного изучения Платона, – черта интенсивного мышления. Об этом, хотя и в меньшей степени, говорят и некоторые страницы его логики, а главным образом выдержанно-систематическое ее изложение: систематичность один из признаков напряженного мышления. Но Карпов был еще слишком связан церковной догмой, чтобы эти зародыши интенсивности дали у него здоровые ростки. – Того же, в общем, типа, что Карпов, и целый ряд «новых философов» эпохи 50–60-х гг. Юркевич, писавший только о самых общих вопросах философии, – об идее, разуме и опыте, и разработавший их лишь бегло и в самых общих чертах, не вдаваясь в подробности и отделку частных, не затрудняя себя подробными и систематическими доказательствами, был способен, однако и к интенсивному мышлению, напр., в психологии. Это доказывается его статьей «Из науки о человеческом духе», содержащей обстоятельный разбор «Антропологического принципа в философии» Чернышевского и изобилующий многими интересными мыслями, впрочем, мало развитыми. Юркевич обнаружил в этой статье и склонность к физиологическим объяснениям психической жизни в гораздо большей степени, чем сам материалистически-настроенный Чернышевский, и очень умело воспользовался ими, напр., в вопросе о душевной жизни у животных, – в духе позднейших идей Сеченова. – Менее самостоятелен, чем Юркевич, но трудолюбивее его – Троицкий, преемник Юркевича по философской кафедре в Московском университете. Его сочинение об английской и немецкой психологии свидетельствует об его умении сосредоточенно и напряженно продумывать связную систему идей, хотя Троицкий применял это умение главным образом к изложению и критике чужих мыслей. А что до его широты, она достаточно явствует из того, что темой его книги является вся английская и немецкая (идеалистическая в особенности) философия и психология. – Чернышевский тоже «широк», – он пишет суммарнейшую статью об антропологическом принципе вообще и больше скользит по встречающимся в ней вопросам, чем думает о них и обсуждает их; он пытается построить сразу всю эстетику – в своей маленькой диссертации. Но широта не всегда ослабляла у него напряженность мысли. Если такой напряженности напрасно было бы искать в первой из названных его работ, он проявил ее зато во второй, по времени более ранней. Здесь он перебирает крупнейшие вопросы эстетики и, не вдаваясь в подробности, показывает искусно, каково их решение с точки зрения антропологизма Фейербаха. Но «подробностей» он все же не любит и спешит перейти к общим принципам. Кстати, и работы Чернышевского, особенно его примечания к «Политической экономии» Милля, столь прославленные школою Маркса, свидетельствуя об интенсивности мышления Чернышевского, говорят в то же время о том, что она была не настолько высока, чтобы выразиться в систематической работе: форма «примечаний» – при-

знак мышления, неспособного к более органической и концентрированной манере. Это – нечто вроде словаря Гогоцкого, только несравненно более самостоятельное. – Автор книги о современных учениях о душе, Владиславлев отдал ей дань экстенсивной манере мышления своей эпохи, тогда как его монография о Плотине, сочинение специальное и более самостоятельное, представляет результат очень внимательного и углубленного изучения философии греческого неоплатоника.

Только что рассмотренная группа представляет переход от слишком экстенсивных мыслителей 50–60-х годов – к таким, у которых широта мышления в виде исключения, соединяется с значительной его интенсивностью. Это – Страхов, Сеченов и Потебня. – Довольствуясь, подобно своим философствующим современникам, не менее, чем «миром в целом», Страхов, однако, питал серьезный и высокий интерес и ко многим частностям этого мира. Превосходное знание тогдашних естественных наук давало ему обильный материал для компетентного суждения об этих частностях. В его живых очерках, посвященных механизму животных и человеку, в его критике и частичном оправдании материализма с крупно философской точки зрения (еще до выхода известной книги Ф.А. Ланге), в его очерках методологии естественных наук и др. сочинениях 50–60-х гг. видно умение подходить с философской точки зрения к деталям мироздания и освещать их так, чтобы в них сквозил план целого, – качество, чуждое большинству современников Страхова и говорящее о значительной интенсивности его мышления. – Обладал этим качеством и Сеченов, который не ограничивался одним повторением увлекшего его материализма, а предпринял под его влиянием ряд самостоятельных исследований по физиологической психологии, сочетая в них широкие схемы материализма с мастерским и проникновенным анализом первоклассного исследователя – физиолога. – Эпоха 50–60 гг. дала, наконец, и высоко-одаренного Потебню, в мышлении которого широта заданий и планов гармонически сочеталась с самым напряженным и деятельным их выполнением. Вот уж, поистине образцовый! Его «Мысль и язык», эта небольшая, сжато и сухо написанная книжка (1862) – одно из самых вдохновенных произведений русской научно-философской мысли. Не знаешь, чему удивляться в ней больше всего: величайшей ли сдержанности выражения или богатству мысли, чуткому ли такту замечательного ученого или великолепной широте мысли философа, законченности целого или великолепной широте мысли философа, законченности целого или артистической отделке подробностей. Потебня не боялся влияний, а шел им навстречу. Но «потенциал» его мысли был столь высокого напряжения, что эти влияния сейчас же перерабатывались и отливались в форму чего-то «сущего и плотного», в котором «сбережено» много мысли, так и сверкающей в аскетической оболочке его лаконически-сухого слова. Так интенсивно мыслить, так далеко видеть, как Потебня, – не умел никто из его современников. Его фигура – пророческая: она обращена вперед, в сторону будущего. Вместе с коренной «европеизацией» русской жизни, с исчезновением из нее переживших себя форм слабой соци-

альной дифференциации и рождением и развитием на ее почве нового типа личности, в этом будущем зрели и еще будут зреть умы, прообразом которых был Потебня. И вся история русской философии второй половины XIX в. и начала нашего явилась и является еще – лабораторией, где рождаются, воспитываются и время от времени выступают различные приближения к мыслителю этого типа.

### **7. Содержание философии 50–60 гг. в связи с общественно-политическими настроениями эпохи**

В предшествующих очерках мы попытались выяснить психологию философского мышления 50–60-х годов, приведя ее в связь с основным фактом – социологическим типом русского мыслителя того времени. Но мы лишь мимоходом касались вопроса о том, каково было содержание тогдашней философии, а если обращали внимание на это последнее, то исключительно с целью осветить, как, путем какой душевной работы приходили к нему мыслители 50–60-х годов. Само же по себе, оно не интересовало нас. Обращаясь теперь к этому вопросу, мы должны учесть один результат нашего предшествующего социально-психологического анализа: это результат определит собою степень и направление того внимания, которое мы должны уделить в этих очерках вопросу о содержании философии 50–60-х гг. Дело в том, что, как мы убедились, мыслители этого времени обнаружили, в общем, очень малую философскую оригинальность, и их деятельность часто носила характер более или менее добросовестных и полезных, но совершенно ученических упражнений. Вырабатывая благодаря этим упражнениям привычки и навыки более самостоятельного и зрелого мышления, философы 50–60-х гг. вносили ими кое-что новое в обиход русской мысли, почему и заслуживают, с этой, психологической стороны, упоминания в истории русской философии. Но те идеи, к которым они приходили с помощью этих более или менее новых в России способов работы, сами по себе не представляли ничего особенно нового, являясь, за немногими исключениями, лишь перепевами западно-европейских философских мотивов. Не прибавляя к ним существенно нового, эти перепевы имеют ничтожное значение в истории философских идей. А их «русская» окраска не делает их более интересными для этой истории, равнодушной ко всему, кроме непосредственного содержания идей, и классифицирующей их не по их «русскому», «немецкому» и вообще национальному признаку, а по их ценности, новизне и связям с предшествующею и последующею, относительно них, стадиями в общем развитии философской мысли. Таким образом, интерес, представляемый содержанием нашей философской мысли 50–60-х годов, вообще невелик, да к тому же не может быть реализован на путях общей истории философии. Если это содержание стоит внимания историка, то не в этой связи, а совсем в другом направлении, где может обнаружиться его национально-историческое значение: это, именно, – в связи с историей русской общественности вообще, с ее

индивидуальными течениями и настроениями. Зависимость философских идей от той общественной среды, в которой они возникают и развиваются, не поддаваясь простой и общей формулировке вследствие возможности самых разнообразных стечений условий и меняясь по характеру и величине смотря по роду этих последних, есть все же несомненный, прочно-установленный факт. Этот факт вытекает из того, что содержание всякой идеи обуславливается, между прочим, тем углом зрения, под которым каждый видит и привычно мыслит вещи и отношения, а направление и величина этого угла, в числе других условий, определяется тем, какие общественные течения и как именно скрещиваются в представителях данной среды, делая их более чуткими и восприимчивыми к одним явлениям и равнодушно-слепыми к другим. В этой-то связи мы и можем рассмотреть содержание русской философской мысли 50–60-х годов.